

Юлиан Семенович
СЕМЕНОВ
1931–1993

Юлиан
СЕМЕНОВ

*Семнадцать
мгновений весны*

Роман



Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)-44
С 30

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

ISBN 978-5-389-11257-5

© Ю. С. Семенов (наследники), 2018
© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2016
Издательство АЗБУКА®

Памяти отца посвящаю

«Кто есть кто?»

Сначала Штирлиц не поверил себе: в саду пел соловей. Воздух был студеным, голубоватым, и, хотя тона кругом были весенние, февральские, осторожные, снег еще лежал плотный и без той внутренней, робкой синевы, которая всегда предшествует ночному таянию.

Соловей пел в орешнике, который спускался к реке, возле дубовой рощи. Могучие стволы старых деревьев были черные; пахло в парке свежемороженой рыбой. Сопутствующего весне сильного запаха прошлогодней березовой и дубовой прели еще не было, а соловей заливался вовсю — щелкал, рассыпался трелью, ломкой и незащитной в этом черном, тихом парке.

Штирлиц вспомнил деда: старик умел разговаривать с птицами. Он садился под деревом, подманивал синицу и подолгу смотрел на пичугу, и глаза у него делались тоже птичьими — быстрыми, черными бу-синками, и птицы совсем не боялись его.

«Пинь-пинь-тарарах!» — высвистывал дед.

И синицы отвечали ему — доверительно и весело.

Солнце ушло, и черные стволы деревьев опрокинулись на белый снег фиолетовыми ровными тенями.

«Замерзнет, бедный, — подумал Штирлиц и, запахнув шинель, вернулся в дом. — И помочь никак нельзя: только одна птица не верит людям — соловей».

Штирлиц посмотрел на часы.

«Клаус сейчас придет, — подумал Штирлиц. — Он всегда точен. Я сам просил его идти от станции через лес, чтобы ни с кем не встречаться. Ничего. Я подожду. Здесь такая красота...»

Этого агента Штирлиц всегда принимал здесь, в маленьком особнячке на берегу озера — своей самой удобной конспиративной квартире. Он три месяца уговаривал обергруппенфюрера СС Поля выделить ему деньги для приобретения виллы у детей погибших при бомбежке танцоров «Оперы». Детки просили много, и Поль, отвечавший за хозяйственную политику СС и СД, категорически отказывал Штирлицу. «Вы сошли с ума, — говорил он, — снимите что-нибудь поскромнее. Откуда эта тяга к роскоши? Мы не можем швырять деньги направо и налево! Это бесчестно по отношению к нации, несущей бремя войны».

Штирлицу пришлось привезти сюда своего шефа — начальника политической разведки службы безопасности. Тридцатичетырехлетний бригаденфюрер СС Вальтер Шелленберг сразу понял, что лучшего места для бесед с серьезными агентами найти невозможно. Через подставных лиц была произведена покупка, и некий Бользен, главный инженер «химического народного предприятия имени Роберта Лея», получил право пользования виллой. Он же нанял сторожа за высокую плату и хороший паек. Бользеном был штандартенфюрер СС фон Штирлиц.

...Кончив сервировать стол, Штирлиц включил приемник. Лондон передавал веселую музыку. Оркестр американца Глена Миллера играл композицию из «Серенады Солнечной долины». Этот фильм понравился Гиммлеру, и в Швеции была закуплена одна копия. С тех пор ленту довольно часто смотрели в подвале на Принц-Альбрехтштрассе, особенно во время

ночных бомбежек, когда нельзя было допрашивать арестованных.

Штирлиц позвонил сторожу и, когда тот пришел, сказал:

— Дружище, сегодня можете поехать в город, к детям. Завтра возвращайтесь к шести утра и, если я еще не уеду, заварите мне крепкий кофе, самый крепкий, какой только сможете...

12.2.1945 (18 часов 38 минут)

«— Как вы думаете, пастор, чего больше в человеке: человека или животного?»

— Я думаю, что того и другого в человеке поровну.

— Так не может быть.

— Может быть только так.

— Нет.

— В противном случае что-нибудь одно давно бы уже победило.

— Вы упрекаете нас в том, что мы апеллируем к низменному, считая духовное вторичным. Духовное действительно вторично. Духовное вырастает как грибок на основной закваске.

— И эта закваска?

— Честолюбие. Это то, что вы называете похотью, а я называю здоровым желанием спать с женщиной и любить ее. Это здоровое стремление быть первым в своем деле. Без этих устремлений все развитие человечества прекратилось бы. Церковь немало приложила сил к тому, чтобы затормозить развитие человечества. Вы понимаете, о каком периоде истории церкви я говорю?

— Да-да, конечно, я знаю этот период. Я прекрасно знаю этот период, но я знаю и другое. Я перестаю видеть разницу между вашим отношением к человеку и тем, которое проповедует фюрер.

— Да?

— Да. Он видит в человеке честолюбивую бестию. Здоровую, сильную, желающую отвоевать себе жизненное пространство.

— Вы не представляете себе, как вы не правы, ибо фюрер видит в каждом немце не просто бестию, но белокурую бестию.

— А вы видите в каждом человеке бестию вообще.

— А я вижу в каждом человеке то, из чего он вышел. А человек вышел из обезьяны. А обезьяна суть животное.

— Тут мы с вами расходимся. Вы верите в то, что человек произошел от обезьяны; вы не видели той обезьяны, от которой он произошел, и эта обезьяна ничего вам не сказала на ухо на эту тему. Вы этого не пощупали, вы этого не можете пощупать. И верите в это, потому что эта вера соответствует вашей духовной организации.

— А вам Бог сказал на ухо, что он создал человека?

— Разумеется, мне никто ничего не говорил, и я не могу доказать существование Божье, это недоказуемо, в это можно только верить. Вы верите в обезьяну, а я верю в Бога. Вы верите в обезьяну, потому что это соответствует вашей духовной организации; я верю в Бога, потому что это соответствует моей духовной организации.

— Здесь вы несколько подтасовываете. Я не верю в обезьяну. Я верю в человека.

— Который произошел от обезьяны. Вы верите в обезьяну в человеке. А я верю в Бога в человеке.

— А Бог, он что — в каждом человеке?

— Разумеется.

— Где же он в фюрере? В Геринге? Где он в Гимmlере?

— Вы задаете трудный вопрос. Мы же говорим с вами о природе человеческой. Разумеется, в каждом

из этих негодяев можно найти следы падшего ангела. Но к сожалению, вся их природа настолько подчинилась законам жестокости, необходимости, лжи, подлости, насилия, что практически там уже ничего и не осталось человеческого. Но я в принципе не верю, что человек, рождающийся на свет, обязательно несет в себе проклятие обезьяньего происхождения.

— Почему проклятие обезьяньего происхождения?

— Я говорю на своем языке.

— Значит, надо принять божеский закон по уничтожению обезьян?

— Скорее всего, нет.

— Вы все время очень нравственно уходите от ответа на вопросы, которые меня мучают. Вы не даете ответа „да“ или „нет“, а каждый человек, ищущий веры, любит конкретность, и он любит одно „да“ и одно „нет“. У вас же есть „да нет“, „нет же“, „скорее всего нет“ и прочие фразеологические оттенки „да“. Вот именно это меня глубоко, если хотите, отталкивает не столько от вашего метода, сколько от вашей практики.

— Вы неприязненно относитесь к моей практике. Ясно... И тем не менее вы прибежали из концлагеря ко мне. Как это увязать?

— Это лишний раз свидетельствует о том, что в каждом человеке, как вы говорите, наличествует и божественное, и обезьянье. Если бы во мне наличествовало только божественное, я бы к вам не обратился. Не стал бы убегать, я принял бы смерть от эсэсовских палачей, подставил бы им вторую щеку, чтобы пробудить в них человека. Вот если бы вам пришлось попасть к ним, интересно, вы бы подставили свою вторую щеку или постарались избежать удара?

— Что значит — подставить вторую щеку? Вы опять проецируете символическую притчу на реальную машину нацистского государства. Одно дело —

подставить щеку в притче. Как я вам уже говорил, эта притча совести человеческой. Другое дело — попасть в машину, которая не спрашивает у тебя, подставляешь ты вторую щеку или нет. Попасть в машину, которая в принципе, в идее своей лишена совести... Разумеется, с машиной, или с камнем на дороге, или со стеной, на которую ты натыкаешься, нечего общаться так, как ты общаешься с другим существом.

— Пастор, мне неловко, — может быть, я прикасаюсь к вашей тайне, но... Вы что, были в свое время в гестапо?

— Ну что же я могу вам сказать? Я был там...

— Понятно. Вы не хотите касаться этого вопроса, ибо для вас это очень болезненный вопрос. А не думаете ли вы, пастор, что после окончания войны паства не будет верить вам?

— Мало ли кто сидел в гестапо.

— А если пастве шепнут, что пастора в качестве провокатора подсаживали в камеры к другим заключенным, которые не вернулись? А таких-то — вернувшихся, как вы, — единицы из миллионов... Не очень-то паства поверит вам... Кому вы тогда будете проповедовать свою правду?

— Разумеется, если действовать на человека подобными методами, можно уничтожить кого угодно. В этом случае вряд ли я смогу что бы то ни было исправить в моем положении.

— И что тогда?

— Тогда? Опровергать это. Опровергать, сколько смогу, опровергать до тех пор, пока меня будут слушать. Когда не будут слушать — умереть внутренне.

— Внутренне. Значит, живым, плотским человеком вы останетесь?

— Господь судит. Останусь так останусь.

— Ваша религия против самоубийства?

- Потому-то я и не покончу с собой.
- Что вы будете делать, лишенный возможности проповедовать?
- Я буду верить не проповедуя.
- А почему вы не видите для себя другого выхода — трудиться вместе со всеми?
- Что вы называете „трудиться“?
- Таскать камни для того, чтобы строить храмы науки — хотя бы.
- Если человек, кончивший богословский факультет, нужен обществу только затем, чтобы таскать камни, то мне не о чем говорить с вами. Тогда действительно мне лучше сейчас вернуться в концлагерь и сгореть там в крематории...
- Я лишь ставлю вопрос — а если? Мне интересно послушать ваше предположительное мнение — так сказать, фокусировку вашей мысли вперед.
- Вы считаете, что человек, который обращается к пастве с духовной проповедью, — бездельник и шарлатан? Вы не считаете это работой? У вас работа — это таскание камней, а я считаю, что труд духовный есть, мало сказать, равноправный с любым другим труд — труд духовный есть особо важный.
- Я сам по профессии журналист, и мои корреспонденции подвергались остракизму как со стороны нацистов, так и со стороны ортодоксальной церкви.
- Они подвергались осуждению со стороны ортодоксальной церкви по той элементарной причине, что вы неправильно толковали самого человека.
- Я не толковал человека. Я показывал мир воров и проституток, которые жили в катакомбах Бремена и Гамбурга. Гитлеровское государство назвало это гнусной клеветой на высшую расу, а церковь назвала клеветой на человека.
- Мы не боимся правды жизни.

— Боитесь! Я показывал, как эти люди пытались приходиться в церковь и как церковь их отталкивала; именно паства отталкивала их, и пастор не мог идти против паствы.

— Разумеется, не мог. Я не осуждаю вас за правду. Я осуждаю вас за то, что вы показывали правду. Я расхожусь с вами в прогнозах на будущего человека.

— Вам не кажется, что в своих ответах вы не пастырь, а политик?

— Просто вы видите во мне только то, что укладывается в вас. Вы видите во мне политический контур, который составляет лишь одну плоскость. Точно так же, как можно увидеть в логарифмической линейке предмет для забивания гвоздей. Логарифмической линейкой можно забить гвоздь, в ней есть протяженность и известная масса. Но это тот самый вариант, при котором видишь десятую, двадцатую функцию предмета, между тем как с помощью линейки можно считать, а не только забивать гвозди.

— Пастор, я ставлю вопрос, а вы, не отвечая, забиваете в меня гвозди. Вы как-то очень ловко превращаете меня из спрашивающего в ответчика. Вы как-то сразу превращаете меня из ищущего в еретика. Почему же вы говорите, что вы — над схваткой, когда вы тоже в схватке?

— Это верно: я в схватке, и я действительно в войне, но я воюю с самой войной.

— Вы очень материалистически спорите.

— Я спорю с материалистом.

— Значит, вы можете воевать со мной моим оружием?

— Я вынужден это делать.

— Послушайте... Во имя блага вашей паствы — мне нужно, чтобы вы связались с моими друзьями. Адрес

я вам дам. Я доверю вам адрес моих товарищей... Пастор, вы не предадите невинных...»

Штирлиц кончил прослушивать эту магнитофонную запись, быстро поднялся и отошел к окну, чтобы не встречаться взглядом с тем, кто вчера просил пастора о помощи, а сейчас ухмылялся, слушая свой голос, пил коньяк и жадно курил.

— С куревом у пастора было плохо? — спросил Штирлиц не оборачиваясь.

Он стоял у окна — громадного, во всю стену — и смотрел, как вороны дрались на снегу из-за хлеба: здешний сторож получал двойной паек и очень любил птиц. Сторож не знал, что Штирлиц — из СД, и был твердо уверен, что коттедж принадлежит либо гомосексуалистам, либо торговым воротилам: сюда ни разу не приезжала ни одна женщина, а когда собирались мужчины, разговоры у них были тихие, еда — изысканная и первоклассное, чаще всего американское, питье.

— Да, я там замучился без курева... Старичок говорун, а мне хотелось повеситься без табака...

Агента звали Клаус. Его завербовали два года назад. Он сам шел на вербовку: бывшему корректору хотелось острых ощущений. Работал он артистично, обезоруживая собеседников искренностью и резкостью суждений. Ему позволяли говорить все: лишь бы работа была результативной и быстрой. Присматриваясь к Клаусу, Штирлиц с каждым днем их знакомства испытывал все возрастающее чувство страха.

«А может быть, он болен? — подумал однажды Штирлиц. — Жажда предательства тоже своеобразная болезнь. Занятно: Клаус полностью бьет Ломброзо¹ —

¹ *Ломброзо Чезаре* (1835–1909) — итальянский психиатр и криминалист, родоначальник антропологического направления в буржуазном уголовном праве.

он страшнее всех преступников, которых я видел, а как благообразен и мил...»

Штирлиц вернулся к столику, сел напротив Клауса, улыбнулся ему.

— Ну? — спросил он. — Значит, вы убеждены, что старик наладит вам связь?

— Да, это вопрос решенный. Я больше всего люблю работать с интеллигентами и священниками. Знаете, это поразительно — наблюдать, как человек идет на гибель. Иногда мне даже хотелось сказать иному: «Стой! Глупец! Куда?!»

— Ну, это уж не стоит, — сказал Штирлиц, — это было бы неразумно.

— У вас нет рыбных консервов? Я схожу с ума без рыбы. Фосфор, знаете ли. Требуют нервные клетки...

— Я приготовлю вам хороших рыбных консервов. Какие вы хотите?

— Я люблю в масле...

— Это я понимаю... Какого производства? Нашего или...

— «Или», — засмеялся Клаус. — Пусть это не патриотично, но я очень люблю и продукты, и питье, сделанные в Америке или во Франции...

— Я приготовлю для вас ящик настоящих французских сардин. Они в оливковом масле, очень пряные... Масса фосфора... Знаете, я вчера посмотрел ваше досье...

— Дорого бы я дал за то, чтобы взглянуть на него хоть одним глазом...

— Это не так интересно, как кажется... Когда вы говорите, смеетесь, жалуетесь на боль в печени — это впечатляет, если учесть, что перед этим вы провели головоломную операцию... А в вашем досье — скучно: рапорты, донесения. Все смешалось: ваши доносы, доносы на вас... Нет, это неинтересно... Занятно другое:

я подсчитал, что по вашим рапортам, благодаря вашей инициативе было арестовано девяносто семь человек... Причем все они молчали о вас. Все без исключения. А их в гестапо довольно лихо обрабатывали...

— Зачем вы говорите мне об этом?

— Не знаю... Пытаюсь анализировать, что ли... Вам бывало больно, когда людей, дававших вам приют, потом забирали?

— А как вы думаете?

— Я не знаю.

— Черт его поймет... Я, видимо, чувствовал себя сильным, когда вступал с ними в единоборство. Меня интересовала схватка... То, что будет с ними потом, — не знаю... Что будет потом с нами? Со всеми?

— Тоже верно, — согласился Штирлиц.

— После нас — хоть потоп. И потом, наши люди: трусость, низость, жадность, доносы. В каждом, просто-напросто в каждом. Среди рабов нельзя быть свободным... Это верно. Так не лучше ли быть самым свободным среди рабов? Я-то все эти годы пользовался полной духовной свободой...

Штирлиц спросил:

— Слушайте, а кто приходил позавчера вечером к пастору?

— Никто.

— Около девяти...

— Вы ошибаетесь, — ответил Клаус, — во всяком случае, от вас никто не приходил, я был там совсем один.

— Может быть, это был прихожанин? Мои люди не разглядели лица.

— Вы наблюдали за его домом?

— Конечно. Все время... Значит, вы убеждены, что старик будет работать на вас?

— Будет. Вообще я чувствую в себе призвание оппозиционера, трибуна, вождя. Люди покоряются моему напору, логике мышления...

— Ладно. Молодчина, Клаус. Только не хвастайтесь сверх меры. Теперь о деле... Несколько дней вы проживете на одной нашей квартире... Потому что после вам предстоит серьезная работа, и причем не по моей части...

Штирлиц говорил правду. Коллеги из гестапо сегодня попросили дать им на недельку Клауса: в Кельне были схвачены два русских «пианиста». Их взяли за работой, прямо у радиоаппарата. Они молчали, к ним нужно было посадить хорошего человека. Лучше, чем Клаус, не сыщешь. Штирлиц обещал найти Клауса.

— Возьмите в серой папке лист бумаги, — сказал Штирлиц, — и пишите следующее: «Штандартенфюрер! Я смертельно устал. Мои силы на исходе. Я честно работал, но больше я не могу. Я хочу отдыха...»

— Зачем это? — спросил Клаус, подписывая письмо.

— Я думаю, вам не помешает съездить на недельку в Инсбрук, — ответил Штирлиц, протягивая ему пачку денег. — Там казино работают, и юные лыжницы по-прежнему катаются с гор. Без этого письма я не смогу отбить для вас неделю счастья.

— Спасибо, — сказал Клаус, — только денег ведь у меня много...

— Больше не помешает, а? Или помешает?

— Да в общем-то — не помешает, — согласился Клаус, пряча деньги в задний карман брюк. — Сейчас гонорею, говорят, довольно дорого лечить...

— Вспомните еще раз: вас никто не видел у пастора?

— Нечего вспоминать — никто.

— Я имею в виду и наших людей.

— Вообще-то, меня могли видеть ваши, если они наблюдали за домом этого старика. И то — вряд ли... Я не видел никого...

Штирлиц вспомнил, как неделю назад он сам одевал его в одежду каторжника перед тем, как устроить спектакль с прогоном заключенных через ту деревню, в которой теперь жил пастор Шлаг. Он вспомнил лицо Клауса тогда, неделю назад: его глаза лучились добротой и мужеством — он уже вошел в роль, которую ему предстояло сыграть. Тогда Штирлиц говорил с ним иначе, потому что в машине рядом сидел святой — так прекрасно было его лицо, скорбен голос и так точны были слова, которые он произносил.

— Это письмо мы опустим по пути на вашу новую квартиру, — сказал Штирлиц. — И набросайте еще одно — пастору, чтобы не было подозрений. Это попробуйте написать сами. Я не стану вам мешать, заварю еще кофе.

Когда он вернулся, Клаус держал в руках листок бумаги.

— «Честность подразумевает действие, — посмеиваясь, начал читать он, — вера зиждется на борьбе. Проповедь честности при полном бездействии — предательство: и паствы, и самого себя. Человек может себе простить нечестность, потомство — никогда. Поэтому я не могу простить себе бездействия. Бездействие — это хуже, чем предательство. Я уйду. Оправдайте себя: Бог вам в помощь». Ну как? Ничего?

— Лихо. Скажите, вы не пробовали писать прозу? Или стихи?

— Нет. Если бы я мог писать — разве бы я стал... — Клаус вдруг оборвал себя и украдкой глянул на Штирлица.

— Продолжайте, чудак. Мы же с вами говорим в открытую. Вы хотели сказать: умей вы писать, разве бы вы стали работать на нас?

— Что-то в этом роде.

— Не в этом роде, — поправил его Штирлиц, — а именно это вы хотели сказать. Нет?

— Да.

— Молодец. Какой вам резон мне-то врать? Выпейте виски, и тронем, уже стемнело, скоро, видимо, янки прилетят.

— Квартира далеко?

— В лесу, километров десять. Там тихо, отоспитесь до завтра...

Уже в машине Штирлиц спросил:

— О бывшем канцлере Брюнинге он молчал?

— Я же говорил вам об этом — сразу замыкался в себе. Я боялся на него жать...

— Правильно делали... И о Швейцарии он тоже молчал?

— Наглухо.

— Ладно. Подберемся с другого края. Важно, что он согласился помогать коммунисту. Ай да пастор!

Штирлиц убил Клауса выстрелом в висок. Они стояли на берегу озера. Здесь была запретная зона, но пост охраны — это Штирлиц знал точно — находился в двух километрах, уже начался налет, а во время налета пистолетный выстрел не слышен. Он рассчитал, что Клаус упадет с бетонной площадки — раньше отсюда ловили рыбу — прямо в воду.

Клаус упал в воду молча, кулем. Штирлиц бросил в то место, куда он упал, пистолет (версия самоубийства на почве нервного истощения выстроилась точно, письма были отправлены самим Клаусом), снял перчатки и пошел через лес к своей машине. До деревушки, где жил пастор Шлаг, было сорок километров. Штир-

лиц высчитал, что он будет у него через час, — он предусмотрел все, даже возможность предъявления алиби по времени...

12.2.1945 (19 часов 56 минут)

(Из партийной характеристики члена НСДАП
с 1930 года группенфюрера СС Крюгера:

«Истинный ариец, преданный фюреру. Характер — нордический, твердый. С друзьями — ровен и общителен; беспощаден к врагам рейха. Отличный семьянин; связей, порочащих его, не имел. В работе зарекомендовал себя незаменимым мастером своего дела...»)

После того как в январе 1945 года русские ворвались в Краков и город, столь тщательно заминированный, остался целехоньким, начальник имперского управления безопасности Кальтенбруннер приказал доставить к себе шефа восточного управления гестапо Крюгера.

Кальтенбруннер долго молчал, приглядываясь к тяжелому, массивному лицу генерала, а потом очень тихо спросил:

— У вас есть какое-либо оправдание — достаточно объективное, чтобы вам мог поверить фюрер?

Мужиковатый, внешне простодушный Крюгер ждал этого вопроса. Он был готов к ответу. Но он обязан был сыграть целую гамму чувств: за пятнадцать лет пребывания в СС и в партии он научился актерству. Он знал, что сразу отвечать нельзя, как нельзя и полностью оспаривать свою вину. Даже дома он ловил себя на том, что стал совершенно другим человеком. Сначала он еще изредка говорил с женой, да и то шепотом, по ночам, но с развитием специальной техники, а он, как никто другой, знал ее успехи, он перестал вообще говорить вслух то, что временами позволял себе думать. Даже в лесу, гуляя с женой, он молчал или

говорил о пустяках, потому что в центре в любой момент могли изобрести аппарат, способный записывать голос на расстоянии в километр или того больше.

Так постепенно прежний Крюгер исчез; вместо него в оболочке знакомого всем и внешне ничуть не изменившегося человека существовал другой, созданный прежним, совершенно не знакомый никому генерал, боявшийся не то что говорить правду, нет, боявшийся разрешать себе думать правду.

— Нет, — ответил Крюгер, нахмурившись, подавляя вздох, очень прочувствованно и тяжело, — достаточного оправдания у меня нет... И не может быть. Я — солдат, война есть война, и никаких поблажек себе я не жду.

Он играл наверняка. Он знал, что чем суровее по отношению к самому себе он будет, тем меньше оружия он оставит в руках Кальтенбруннера.

— Не будьте бабой, — сказал Кальтенбруннер, закуривая, и Крюгер понял, что выбрал абсолютно точную линию поведения. — Надо проанализировать провал, чтобы не повторять его.

Крюгер сказал:

— Обергруппенфюрер, я понимаю, что моя вина — безмерна. Но я хотел бы, чтобы вы выслушали штандартенфюрера Штирлица. Он был полностью в курсе нашей операции, и он может подтвердить: все было подготовлено в высшей мере тщательно и добросовестно.

— Какое отношение к операции имел Штирлиц? — пожал плечами Кальтенбруннер. — Он из разведки, он занимался в Кракове иными вопросами.

— Я знаю, что он занимался в Кракове пропавшим ФАУ, но я считал своим долгом посвятить его во все подробности нашей операции, полагая, что, вернувшись, он доложит или рейхсфюреру, или вам о том, как

мы организовали дело. Я ждал каких-то дополнительных указаний от вас, но так ничего и не получил.

Кальтенбруннер вызвал секретаря и попросил его:

— Пожалуйста, узнайте, был ли внесен Штирлиц из шестого управления в список лиц, допущенных к проведению операции «Шварцфайер». Узнайте, были ли на приеме у руководства Штирлиц после возвращения из Кракова, и если был, то у кого. Поинтересуйтесь также, какие вопросы он затрагивал в беседе.

Крюгер понял, что он слишком рано начал подставлять под удар Штирлица.

— Всю вину несу один я, — снова заговорил он, опустив голову, выдавливая из себя глухие, тяжелые слова, — мне будет очень больно, если вы накажете Штирлица. Я глубоко уважаю его как преданного борца. Мне нет оправдания, и я смогу искупить свою вину только кровью на поле битвы.

— А кто будет бороться с врагами здесь?! Я?! Один?! Это слишком просто — умереть за родину и фюрера на фронте! И куда сложнее жить здесь, под бомбами, и выжигать каленым железом скверну! Здесь нужна не только храбрость, но и ум! Большой ум, Крюгер!

Крюгер понял: отправки на фронт не будет.

Секретарь, неслышно отворив дверь, положил на стол Кальтенбруннера несколько тонких папок. Кальтенбруннер перелистал папки и ожидающе посмотрел на секретаря.

— Нет, — сказал секретарь, — по возвращении из Кракова Штирлиц сразу же переключился на выявление стратегического передатчика, работающего на Москву...

Крюгер решил продолжить свою игру, он подумал, что Кальтенбруннер, как все жестокие люди, предельно сентиментален.

— Обергруппенфюрер, тем не менее я прошу вас позволить мне уйти на передовую.

— Сядьте, — сказал Кальтенбруннер, — вы генерал, а не баба. Сегодня можете отдохнуть, а завтра подробно, в деталях, напишите мне все об операции. Там подумаем, куда вас направить на работу... Людей мало, а дел много, Крюгер. Очень много дел.

Когда Крюгер ушел, Кальтенбруннер вызвал секретаря и попросил его:

— Подберите мне все дела Штирлица за последние год-два, но так, чтобы об этом не узнал Шелленберг: Штирлиц ценный работник и смелый человек, не стоит бросать на него тень. Просто-напросто обычная товарищеская взаимная проверка... И заготовьте приказ на Крюгера: мы отправим его заместителем начальника пражского гестапо — там горячее место...

15.2.1945 (20 часов 30 минут)

(Из партийной характеристики члена НСДАП с 1938 года Холтоффа, оберштурмбаннфюрера СС (IV отдел РСХА):

«Истинный ариец. Характер — приближающийся к нордическому, стойкий. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Имеет отличные показатели в работе. Спортсмен. Беспощаден к врагам рейха. Холост. Связей, порочащих его, не имел. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера СС...»)

Штирлиц решил для себя, что сегодня он освободится пораньше и уедет с Принц-Альбрехтштрассе в Науэн: там в лесу, на развилке дорог, стоял маленький ресторанчик Пауля, и, как год и как пять лет тому назад, сын Пауля, безногий Курт, каким-то чудом доставал свинину и угощал своих постоянных клиентов настоящим айсбайном с капустой.

Когда не было бомбежек, казалось, что войны вообще нет: так же, как и раньше, играла радиолоа, и низ-

кий голос Бруно Варнке напевал: «О, как прекрасно было там, на Могельзее...»

Но освободиться пораньше Штирлицу так и не удалось. К нему зашел Холтофф из гестапо и сказал:

— Я совсем запутался. То ли мой арестованный психически неполноценен, то ли его следует передать вам, в разведку, поскольку он повторяет то, что говорят по радио эти английские свиньи.

Штирлиц пошел в кабинет к Холтоффу и просидел там до девяти часов, слушая истерику астронома, арестованного местным гестапо в Ванзее.

— Неужели у вас нет глаз?! — кричал астроном. — Неужели вы не понимаете, что все кончено?! Мы пропали! Неужели вы не понимаете, что каждая новая жертва сейчас — это вандализм! Вы все время твердили, что живете во имя нации! Так уходите! Помогите остаткам нации! Вы обрекаете на гибель несчастных детей! Вы фанатики, жадные фанатики, дорвавшиеся до власти! Вы сыты, вы курите сигареты и пьете кофе! Дайте нам жить, как людям! — Астроном вдруг замер, вытер пот с висков и тихо закончил: — Или убейте меня поскорее здесь...

— Погодите, — сказал Штирлиц. — Крик — не повод. У вас есть какие-либо конкретные предложения?

— Что? — испуганно спросил астроном.

Спокойный голос Штирлица, его манера неторопливо говорить, чуть при этом улыбаясь, ошеломили астронома: он уже привык в тюрьме к крику и зуботычинам; к ним привыкают быстро, отвыкают — медленно.

— Я спрашиваю: каковы ваши конкретные предложения? Как нам спасти детей, женщин, стариков? Что вы предлагаете для этого сделать? Критиковать и злобствовать всегда легче. Выдвинуть разумную программу действий — значительно труднее.

— Я отвергаю астрологию, — ответил ученый, — но я преклоняюсь перед астрономией. Меня лишили кафедры в Бонне...

— Так ты поэтому так злобствуешь, собака?! — закричал Холтофф.

— Подождите, — сказал Штирлиц, досадливо поморщившись, — не надо кричать, право... Продолжайте, пожалуйста...

— Мы живем в год беспокойного солнца. Взрывы протуберанцев, передача огромной дополнительной массы солнечной энергии влияют на светила, на планеты и звезды, влияют на наше маленькое человечество...

— Вы, вероятно, — спросил Штирлиц, — вывели какой-либо гороскоп?

— Гороскоп — это интуитивная, может быть даже гениальная, недоказанность. Нет, я иду от обычной, отнюдь не гениальной гипотезы, которую я пытался выдвигать: о взаимосвязанности каждого живущего на земле с небом и солнцем... И эта взаимосвязь помогает мне точнее и трезвее оценивать происходящее на земле моей родины...

— Мне будет интересно поговорить с вами на эту тему подробнее, — сказал Штирлиц. — Вероятно, мой товарищ позволит сейчас вам пойти в камеру и дня два отдохнуть, а после мы вернемся к этому разговору.

Когда астронома увели, Штирлиц сказал:

— Он в определенной степени невменяем, разве ты не видишь? Все ученые, писатели, артисты по-своему невменяемы. К ним нужен особый подход, потому что они живут своей, придуманной ими жизнью. Отправь этого чудака в нашу больницу на экспертизу. У нас сейчас слишком много серьезной работы, чтобы тратить время на безответственных, хотя, может быть, и талантливых болтунов.

— Но он говорит как настоящий англичанин с лондонского радио... Или как проклятый социал-демократ, снюхавшийся с Москвой.

— Люди изобрели радио для того, чтобы его слушать. Вот он и наслушался. Нет, это несерьезно. Будет целесообразно встретиться с ним через несколько дней. Если он серьезный ученый, мы войдем к Мюллеру или Кальтенбруннеру с просьбой: дать ему хороший паек и эвакуировать в горы, где сейчас цвет нашей науки, — пусть работает, он сразу перестанет болтать, когда будет много хлеба с маслом, удобный домик в горах, в сосновом лесу, и никаких бомбежек... Нет?

Холтофф усмехнулся:

— Тогда бы никто не болтал, если бы у каждого был домик в горах, много хлеба с маслом и никаких бомбежек...

Штирлиц внимательно посмотрел на Холтоффа, дождался, пока тот, не выдержав его взгляда, начал суетливо перекидывать бумажки на столе с места на место, и только после этого широко и дружелюбно улыбнулся своему младшему товарищу по работе...

15.2.1945 (20 часов 44 минуты)

«СТЕНОГРАММА СОВЕЩАНИЯ У ФЮРЕРА

Присутствовали:

Кейтель, Йодль, посланник Хавель — от Министерства иностранных дел, рейхслайтер Борман, обергруппенфюрер СС Фегеляйн — посланник ставки рейхсфюрера СС, рейхсминистр промышленности Шпеер, а также адмирал Фосс, капитан третьего ранга Людде-Нейрат, адмирал фон Путкамер, адъютанты, стенографистки.

Борман. Кто там все время расхаживает? Это мешает! И потише, пожалуйста, господа военные.

Путкамер. Я попросил полковника фон Белова дать мне последнюю справку о положении люфтваффе в Италии.

Борман. Я не о полковнике. Все говорят, и это создает надоедливый, постоянный шум.

Гитлер. Мне это не мешает. Господин генерал, на карту не нанесены изменения на сегодняшний день в Курляндии.

Йодль. Мой фюрер, вы не обратили внимания: вот коррективы сегодняшнего утра.

Гитлер. Очень мелкий шрифт на карте. Спасибо, теперь я увидел.

Кейтель. Генерал Гудериан снова настаивает на вывозе наших дивизий из Курляндии.

Гитлер. Это неразумный план. Сейчас войска генерала Рендулича, оставшиеся в глубоком тылу русских, в четырехстах километрах от Ленинграда, притягивают к себе от сорока до семидесяти русских дивизий. Если мы уведем оттуда наши войска, соотношение сил под Берлином сразу же изменится — и отнюдь не в нашу пользу, как это кажется Гудериану. В случае, если мы уберем войска из Курляндии, тогда на каждую немецкую дивизию под Берлином будет приходиться по крайней мере три русских.

Борман. Надо быть трезвым политиком, господин фельдмаршал...

Кейтель. Я военный, а не политик.

Борман. Это неразделимые понятия в век тотальной войны.

Гитлер. Для того чтобы нам эвакуировать войска, стоящие сейчас в Курляндии, потребуется — учитывая опыт Либавской операции — по крайней мере, полгода. Это смехотворно. Нам отпущены часы, именно часы — для того, чтобы завоевать победу. Каждый, кто может смотреть, анализировать, делать выводы, обязан ответить себе на один лишь вопрос: возможна ли близкая победа? Причем я не прошу, чтобы ответ был слепым в своей категоричности. Меня не устраивает слепая вера, я ищу веры осмысленной. Никогда еще мир не знал такого парадоксального в своей противоречивости союза, каким является коалиция союзников. В то время как цели России, Англии и Америки являются диаметрально противоположными, наша цель ясна всем нам. В то время как они движутся, направляемые разностью своих идеологических устремлений, мы движимы одним устремлением; ему подчинена наша жизнь. В то время как противоречия между ними растут и будут расти, наше единство теперь, как никогда раньше, обрело ту монолитность, которой я добивался многие годы этой тяжелой великой кампании.

Помогать разрушению коалиции наших врагов дипломатическими или иными путями — утопия. В лучшем случае утопия, если не проявление паники и утрата всяческой перспективы. Лишь нанося им военные удары, лишь демонстрируя несгибаемость нашего духа и неистощимость нашей мощи, мы ускорим конец этой коалиции, которая развалится при грохоте наших победных орудий. Ничто так не действует на западные демократии, как демонстрация силы. Ничто так не отрезвляет Сталина, как растерянность Запада, с одной стороны, и наши удары — с другой. Учтите, Сталину приходится сейчас вести войну не в лесах Брянска и не на полях Украины. Он держит свои войска на территории Польши, Румынии, Венгрии. Русские, войдя в прямое соприкосновение с «не родиной», уже ослаблены и — в определенной мере — деморализованы. Но не на русских и не на американцев я сейчас обращаю максимум внимания. Я обращаю свой взор на немцев! Только наша нация может одержать и обязана одержать победу! В настоящее время вся страна стала военным лагерем. Вся страна — я имею в виду Германию, Австрию, Норвегию, часть Венгрии и Италии, значительную территорию Чешского и Богемского протекторатов, Данию и часть Голландии. Это — сердце европейской цивилизации. Это концентрация мощи — материальной и духовной. В наши руки попал материал победы. От нас, от военных, сейчас зависит, в какой мере быстро мы используем этот материал во имя нашего триумфа. Поверьте мне, после первых же сокрушительных ударов наших армий коалиция союзников рассыплется. Эгоистические интересы каждого из них возобладают над стратегическим видением проблемы. Я предлагаю во имя приближения часа нашей победы следующее: 6-я танковая армия СС начинает контрнаступление под Будапештом, обеспечивая, таким образом, надежность южного бастиона национал-социализма в Австрии и Венгрии, с одной стороны, и подготавливая выход во фланг русским — с другой. Учтите, что именно там, на юге, в Надьканиже, мы имеем семьдесят тысяч тонн нефти. Нефть — это кровь, пульсирующая в артериях войны. Я скорее пойду на сдачу Берлина, чем на потерю этой нефти, которая гарантирует мне неприступность Австрии, ее общность с итальянской миллионной группировкой Кессельринга. Далее: группа армий «Висла», собрав резервы, проведет решительное контрнаступление во фланги русских, использовав для этого померанский плацдарм. Войска рейхсфюрера СС, прорвав оборону русских, выходят к ним в тыл и овладевают инициативой;

поддерживаемые штеттинской группировкой, они разрезают фронт русских. Вопрос подвоза резервов для Сталина — это вопрос вопросов. Расстояния против него. Расстояния, наоборот, за нас. Семь оборонительных линий, укрывающих Берлин и — практически — делающих его неприступным, позволят нам нарушить каноны военного искусства и перебросить на запад значительную группу войск с юга и с севера. У нас будет время: Сталину потребуется два-три месяца для перегруппировки резервов, нам же для переброски армий — пять дней; расстояния Германии позволяют сделать это, бросив вызов традициям стратегии.

Йодль. Желательно было бы все же увязать этот вопрос с традициями стратегии...

Гитлер. Речь идет не о деталях, а о целом. В конце концов, частности всегда могут быть решены в штабах группами узких специалистов. Военные имеют более четырех миллионов людей, организованных в мощный кулак сопротивления. Задача состоит в том, чтобы организовать этот мощный кулак сопротивления в сокрушающий удар победы. Мы сейчас стоим на границах августа 1938 года. Мы слиты воедино. Мы, нация немцев. Наша военная промышленность вырабатывает вооружения в четыре раза больше, чем в 1939 году. Наша армия в два раза больше, чем в том году. Наша ненависть страшна, а воля к победе неизмерима. Так я спрашиваю вас: неужели мы не выиграем мир путем войны? Неужели колоссальный военный успех не родит успех политический?

Кейтель. Как сказал рейхсляйтер Борман, военный сейчас одновременно и политик.

Борман. Вы не согласны?

Кейтель. Я согласен.

Гитлер. Я прошу к завтрашнему дню подготовить мне конкретные предложения, господин фельдмаршал.

Кейтель. Да, мой фюрер. Мы приготовим общую наметку, и, если вы одобрите ее, мы начнем обработку всех деталей».

Когда совещание кончилось и все приглашенные разошлись, Борман вызвал двух стенографисток.

— Пожалуйста, срочно расшифруйте то, что я вам сейчас продиктую, и разошлите от имени ставки всем высшим офицерам вермахта... Итак: «В своей исторической речи 15 февраля в ставке наш фюрер, осветив

положение на фронтах, в частности, сказал: „Никогда еще мир не знал такого парадоксального в своей противоречивости блока, каким является коалиция союзников“». Далее...

**«Кем они меня там считают?»
(Задание)**

(Из партийной характеристики члена НСДАП
с 1933 года фон Штирлица, штандартенфюрера СС
(VI отдел РСХА):

«Истинный ариец. Характер — нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам рейха. Отличный спортсмен: чемпион Берлина по теннису. Холост; в связях, порочащих его, замечен не был. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера СС...»)

Штирлиц приехал к себе, когда только-только начинало темнеть. Он любил февраль: снега почти не было, по утрам высокие верхушки сосен освещались солнцем, и казалось, что уже лето и можно уехать на Могельзее и там ловить рыбу или спать в шезлонге.

Здесь, в маленьком своем коттедже в Бабельсберге, совсем неподалеку от Потсдама, он теперь жил один: его экономка неделю назад уехала в Тюрингию к племяннице — сдали нервы от бесконечных налетов.

Теперь у него убирала молоденькая дочка хозяина кабачка «К охотнику».

«Наверное, саксонка, — думал Штирлиц, наблюдая за тем, как девушка управлялась с большим пылесосом в гостиной, — черненькая, а глаза голубые. Правда, акцент у нее берлинский, но все равно она, наверное, из Саксонии».

— Который час? — спросил Штирлиц.

— Около семи...

Штирлиц усмехнулся: «Счастливая девочка... Она может себе позволить это „около семи“. Самые счастливые люди на земле те, кто может вольно обращаться с временем, ничуть не опасаясь за последствия... Но говорит она на берлинском, это точно. Даже с примесью мекленбургского диалекта...»

Услышав шум подъезжающего автомобиля, он крикнул:

— Девочка, посмотри, кого там принесло?

Девушка, заглянув к нему в маленький кабинет, где он сидел в кресле возле камина, сказала:

— К вам господин из полиции.

Штирлиц поднялся, потянулся с хрустом и пошел в прихожую. Там стоял унтершарфюрер СС с большой корзинкой в руке.

— Господин штандартенфюрер, ваш шофер заболел, я привез паек вместо него...

— Спасибо, — ответил Штирлиц, — положите в холодильник. Девочка вам поможет.

Он не вышел проводить унтершарфюрера, когда тот уходил из дома. Он открыл глаза, только когда в кабинет неслышно вошла девушка и, остановившись у двери, тихо сказала:

— Если герр Штирлиц хочет, я могу оставаться и на ночь.

«Девочка впервые увидела столько продуктов, — понял он. — Бедная девочка».

Он открыл глаза, снова потянулся и ответил:

— Девочка... половину колбасы и сыр можешь взять себе без этого...

— Что вы, герр Штирлиц, — ответила она, — я не из-за продуктов...

— Ты влюблена в меня, да? Ты от меня без ума? Тебе снятся мои седины, нет?

— Седые мужчины мне нравятся больше всего на свете.

— Ладно, девочка, к сединам мы еще вернемся. После твоего замужества... Как тебя зовут?

— Мари... Я ж говорила... Мари.

— Да-да, прости меня, Мари. Возьми колбасу и не кокетничай. Сколько тебе лет?

— Девятнадцать.

— О, совсем уже взрослая девушка. Ты давно из Саксонии?

— Давно. С тех пор, как сюда переехали мои родители.

— Ну иди, Мари, иди отдыхать. А то я боюсь, не начали бы они бомбить, тебе будет страшно идти, когда бомбят.

Когда девушка ушла, Штирлиц закрыл окна тяжелыми светомаскировочными шторами и включил настольную лампу. Нагнулся к камину и только тут заметил, что поленца сложены именно так, как он любил: ровным колодцем, и даже береста лежала на голубом грубом блюде.

«Я ей об этом не говорил. Или нет... Сказал. Мимоходом... Девочка умеет запоминать, — думал он, зажигая бересту, — мы все думаем о молодых, как старые учителя, и со стороны это, верно, выглядит очень смешно. А я уже привык думать о себе как о старике: сорок пять лет...»

Штирлиц дождался, пока разгорелся огонь в камине, подошел к приемнику и включил его. Он услышал Москву: передавали старинные романсы. Штирлиц вспомнил, как однажды Геринг сказал своим штабистам: «Это непатриотично — слушать вражеское радио, но временами меня так и подмывает послушать, какую ахинею они о нас несут». Сигналы о том, что Геринг слушает вражеское радио, поступали и от его

прислуги, и от шофера. Если «наци № 2» таким образом пытается выстроить свое алиби, это свидетельствует о его трусости и полнейшей неуверенности в завтрашнем дне. Наоборот, думал Штирлиц, ему не стоило бы скрывать того, что он слушает вражеское радио. Стоило бы просто комментировать вражеские передачи, грубо их вышучивать. Это наверняка подействовало бы на Гимmlера, не отличавшегося особым изыском в мышлении.

Романс окончился тихим фортепианным проигрышем. Далекий голос московского диктора, видимо немца, начал передавать частоты, на которых следовало слушать передачи по пятницам и средам. Штирлиц записывал цифры: это было донесение, предназначенное для него, он ждал его уже шесть дней. Он записывал цифры в стройную колонку: цифр было много, и, видимо, опасаясь, что он не успеет все записать, диктор прочитал их во второй раз.

А потом снова зазвучали прекрасные русские романсы.

Штирлиц достал из книжного шкафа томик Монтеня, перевел цифры в слова и соотнес эти слова с кодом, скрытым среди мудрых истин великого и спокойного французского мыслителя.

«Кем они считают меня? — подумал он. — Гением или всемогущим? Это же невысказано...»

Думать так у Штирлица были все основания, потому что задание, переданное ему через московское радио, гласило:

«ЮСТАСУ. По нашим сведениям, в Швеции и Швейцарии появлялись высшие офицеры службы безопасности СД и СС, которые искали выход на резидентуру союзников. В частности, в Берне люди СД пытались установить контакт с работниками Аллена Даллеса. Вам необходимо выяснить, являются ли эти попытки контактов: 1) дезинформацией, 2) личной инициативой высших офицеров СД, 3) выполнением задания центра.

Семенов Ю.

С 30 Семнадцать мгновений весны : роман / Юлиан Семенов. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — 352 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-11257-5

Юлиан Семенович Семенов — русский писатель, историк, поэт, журналист, автор культового романа о Штирлице, легендарном советском разведчике. Макс Отто фон Штирлиц (полковник Максим Максимович Исаев) завоевал любовь миллионов читателей и стал по-настоящему народным героем. О нем рассказывают анекдоты и продолжают спорить о его прототипах. Многие годы Юлиан Семенов получал письма от читателей с адресом на конверте: «Москва, Союз писателей, Семенову для Исаева—Штирлица». Разные люди разных возрастов, национальностей и вкусов, вспоминал Семенов, просили дать адрес Максима Максимовича Исаева, чтобы начать с ним переписку. Роман «Семнадцать мгновений весны» был опубликован в 1970 году, и через три года состоялась его экранизация, сценарий также был написан Юлианом Семеновым. Телефильм имел оглушительный успех и по сей день остается хитом российского кинематографа.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)-44

Литературно-художественное издание

ЮЛИАН СЕМЕНОВ
СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ

Ответственный редактор Оксана Сабурова
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Михаила Львова
Корректоры Станислава Кучепатова, Ирина Сологуб
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 25.12.2017. Формат издания 75 × 100^{1/32}.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 15,5. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



A-VAK-19286-03-R

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,

факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;

info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО

«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,

факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru,

www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей

и творческого сотрудничества

размещена по адресу:

www.azbooka.ru/new_authors/